И.И. Бендерский*

К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ СКАЗАННОГО ОБ ИСТОРИИ
В КНИГЕ «ВОЙНА И МИР» Л.Н. ТОЛСТОГО**

В статье предпринимается попытка рассмотреть историографические способы понимания высказываний Л. Толстого об истории в книге «Война и мир», опираясь на труды Н.И. Кареева, Е.В. Тарле и других русских историков. Автор проводит мысль о том, что в современных обстоятельствах продолжение предметного разговора о том, что было высказано в книге «Война и мир», затруднено. Научно-гуманитарному анализу по-прежнему поддается внешнее воплощение романного слова (исследования языка, стиля, формальной стороны образного строя произведения), а также история написания и рецепции книги, но содержательный, смысловой аспект высказанного в романе систематически ускользает.

Ключевые слова: историческое знание, диалог, историческая наука, Л.Н. Толстой, Н.И. Кареев, Е.В. Тарле

Towards the issue of understanding the statements about history in Leo Tolstoy's «War and peace». ILYA I. BENDERSKIY (The Leo Tolstoy State Museum)

The article attempts to consider historiographical methods of understanding Tolstoy's statements on history expressed in «War and peace», basing on the works of N.I. Kareev, E.V. Tarle and other Russian historians. The author points out that in the modern context it is difficult to continue the discussion about what was postulated in the book and that the substantive and semantic aspects of it systematically slip away.

Keywords: historical knowledge, dialogue, historical science, L.N. Tolstoy, N.I. Kareev, E.V. Tarle

Реконструкция условий диалога

В современных обстоятельствах продолжение предметного разговора о том, что было высказано в книге «Война и мир», затруднено. Научно-гуманитарному анализу по-прежнему поддается внешнее воплощение романного слова (исследования языка, стиля, формальной стороны образного строя произведения), а также история написания и рецепции книги, но содержательный, смысловой аспект высказанного в романе систематически ускользает.

На пересечении различных перспектив анализа (различных «дискурсов» гуманитарного

знания) проблематика романа не схватывается. Представляется, что это происходит потому, что в самой познавательной практике гуманитарных наук в значительной мере утрачена связь с предшествующим знанию и мотивирующим поиском истины «затекстовым» событийно-онтологическим опытом, который объемлет собой как научное, так и художественное и практическое мышление. Или, если выразиться короче, утрачена взаимосвязь форм осмысления жизненного опыта.

Слово, сказанное в романе XIX в., как будто бы уже ни к чему не обязывает говорящих об

* БЕНДЕРСКИЙ Илья Игоревич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого.

E-mail: bender.beni@yandex.ru

© Бендерский И.И., 2018

** Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ. Проект № 16-03-00826

этом самом романе на специфических языках современной гуманитарии. Не стало общей почвы для разговора. Все труднее и труднее теперь нащупывать тот разноликий, но все же общий опыт, который мог быть и был в XIX в. предметом дискуссий между романистом, критиками, профессиональными историками и рядовыми читателями. Сегодня толстовское слово перестает работать как понуждающее к активно-ответному пониманию указание на актуальный смысл (как, например, раскрывал толстовское слово Н.Н. Страхов, первый критик, который смог прочесть роман «по сути дела» (см.: [5])), но служит лишь «материалом» для построения той или иной конструкции, для реализации того или иного «проекта» («научного», идеологического, педагогического и пр.).

Однако в отрыве от предметного мира, в изображении (или «изобретении», «конструировании», как зачастую можно услышать) которого состязаются разные формы мышления (в том числе и наука), «система образного мышления», изучаемая исследователями романа, превращается в искусственно изолированный от действительности «объект», доступный для изолированных построений, однако утративший связь с жизненным и историческим горизонтом, объединяющим автора и читателя. На отгороженных территориях «научного анализа» (филологического, историко-биографического, нарративного, психоаналитического и т.д.) художественное произведение замыкается, утрачивает силу высказывания, обращенного на тот или иной предмет, общий для автора и читателя, то есть перестает быть актом мышления (хотя бы даже и «образного»).

В свете этого методологического затруднения имеет смысл задаться вопросом о реконструкции условий диалога между современным научно-гуманитарным мышлением и романом Толстого перед тем, как приступить к очередной попытке «реконструировать мировоззрение» автора «Войны и мира». Ведь зависает в пустоте выхолощенных понятий реконструкция чужого сознания «сама по себе» (то есть вне диалога, вне соучастия в разговоре по предмету сказанного другим). В общем виде эта проблема возможности интерпретации художественного опыта в актуальных категориях знания легко может «утонуть» в сложнейших вопросах теории литературы и теории познания. Поэтому продуктивной представляется конкретизация (заземление общетеоретического вопроса) на материале более осязаемой (и узнаваемой)

взаимосвязи исторического романа («Войны и мира») с исторической наукой.

Шаг назад

Традиционное рассмотрение «темы истории» в романе «Война и мир» запирается внутри художественного текста (и, соответственно, «художественного мира») откуда, как отмечено выше, сегодня уже почти нет выхода к предметной действительности высказанного. Даже чуткое к содержательной стороне художественного слова филологическое мышление, оставаясь собой, может тем или иным образом (посредством герменевтического «замедления над текстом», или же, напротив, – (де)конструктивистского охвата «институтов производства/потребления» текстов) указать на связь художественного опыта с опытом событийно-историческим. Однако, как правило, продуктивный разговор об этой взаимосвязи остается табуирован. Попытка войти непосредственно (как это делает историк) в событийный опыт внеположенный миру текста для того, кто имеет дело с романом, методологически осложнена.

Чтобы соотнести сказанное об истории Толстым в «Войне и мире» с тем, как это мыслится в исторической науке, необходимо выйти за пределы как собственно исторической науки, так и филологии. Это значит – сделать шаг назад от художественного мира, созданного Толстым. Но, конечно же, не в связи «с утратой доверия» к этому миру, а, скорее, не доверяя себе как читателю. Этот «шаг назад» необходим, чтобы впоследствии вернуться к произведению и к конкретному запечатленному в нем опыту. Но прежде стоит хотя бы в предельно общем виде нащупать содержательную взаимосвязь традиций романа и историографии (ведь именно историческая наука из всех речевых жанров мышления стоит ближе всего к исторически конкретному видению социальной действительности). В качестве отправной точки следует взять не текст книги, и уж, конечно, не «мировоззрение автора» (много раз исследованное на материале хорошо известного в науке корпуса источников), но само отношение толстовского слова к дискурсу историко-научного знания и внеположенному для текста романа, но изображенному в нем историческому опыту. Очевидно, что отношение это не выдуманно, полемика Толстого с историками известна. Тема истории в романе «Война и мир» – классическая тема. Однако сами условия диалогической взаимосвязи романа и исторического знания выстраи-

валась еще до и помимо Толстого. Почва для разговора возделывалась веками.

История и роман: напряжение границ

Еще античная историография формировалась как жанр по образцу повествований Геродота и Фукидида. Этому первому рождению в V в. до н.э. историографии предшествовало открытие в гомеровском эпосе, а затем в классической эллинской трагедии той действительности смертных судеб, что соткана из людских страстей и поступков. «Дела человеческие» стали предметом сначала поэтического, и только затем уже исторического повествования.

В дальнейшем «предметное содержание» истории осмыслялось античными авторами в тесной связи с ее уже существующей повествовательной формой, открытой Геродотом и Фукидидом. Именно к такому утверждению пришли авторы немецкого «Словаря основных исторических понятий», анализируя генезис понятия «история». Сама категория «исторического», насколько известно, впервые зафиксированная Аристотелем в IV в. до н.э., появилась лишь задним числом для обозначения содержания жанра литературного произведения.

В Средние века и на заре Нового времени различные формы творчества существовали в некотором едином, многосоставном, но взаимопроницаемом теле мышления, в котором истина религиозная не была отделена столь решительно от истины науки, красота и добродетель не были отделены от знания. Соответственно, мышление в категориях художественного опыта было по праву (то есть для нас уже как бы «наивно») собственно мышлением, а не только и не столько «формой творчества». Многие века своего развития античная, средневековая, а потом и новоевропейская историография сохраняла живую связь с другими литературными формами. При этом долгое время «история» считалась более высоким жанром, нежели «роман».

Только в эпоху Просвещения, по выражению авторов немецкого словаря основных исторических понятий, «как вода в двух сообщающихся сосудах, история и роман установились на одном уровне». Роман становился способом выражения ключевых идей той эпохи, которая уже и осознается как «переломное, седловое время» («Sattelzeit» – термин Р. Козеллека) европейской истории. В эту эпоху Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, а затем И.В. Гете и Ф. Шиллер вовлекли романное слово в дело переосмысления и пре-

образования исторического мира. На рубеже XVIII и XIX вв. в европейском сознании выработываются ключевые понятия и установки, вне которых немыслимы гуманитарные науки XIX и XX вв. Оформляется комплекс идей, составляющих понятие «историзм». О подлинном открытии историзма в поэтическом творчестве писал П.М. Бицилли: «Гердер и Гете были первыми ощутившими очарование эстетического погружения в непонятное, чуждое нам, далекое от нас прошлое» [1, с. 188].

Соответствующий сплав эстетических и познавательных установок в русской культуре выражен Н.М. Карамзиным. Успех его «Истории...» был обусловлен как раз тем, что его авторские задачи как историка были искусно встроены в задачи эстетического и эмоционального воспитания публики в духе литературных традиций XVIII в. Для русского просвещенного человека обостренное чувство прекрасного стало своего рода доминантой миропонимания, арбитром в мире человеческой культуры.

Уже четко дифференцированные между собой отдельные сферы культурного опыта на рубеже XVIII – начала XIX вв. все еще могли восприниматься как единый «текст». В метафизических системах «великих немцев» (И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, И.Г. Фихте, Ф. Шеллинга) наука, искусство, религия, мораль и право обрели последние контуры гармоничного сосуществования под общим сводом метафизического мышления.

В первой половине XIX в. формирование истории как науки и историзма как системы принципов мышления происходило в тесной связи как с общим движением европейского романа от романтизма к реализму, так и с формированием исторического романа как самостоятельного жанра (творчество Вальтера Скотта). Исторический роман и историческая наука взаимно обогащали друг друга. В этом напряжении на границах формировались интеллектуальные и эстетические запросы в рамках того и другого жанра.

Однако с середины XIX в. приоритет автономной по отношению к другим областям опыта науки уже довлел над иными формами переживания и осмысления действительности. Жизнь вообще претерпевает существенную историзацию. Действительность все чаще рассматривается как по преимуществу общественная и исторически-динамичная. Абсолютные же измерения вечности, бытия и небытия, идеалов красоты и добра теперь (примерно с конца

1830-х – начала 1840-х гг. на Западе и с 1850-х гг. в России) отходят в тень, как бы в слепую зону дисциплинарного мышления. Размывание авторитета религиозных и метафизических истин создало условия для невиданного доселе самоутверждения исторической критики.

Свойственные науке установки на «объективность описания», «исследование», то есть схватывание фактического положения дел, как бы без предвосхищающих интерпретаций, отразились в речевом мышлении художественной литературы. Реакцией литературы на будто бы вдруг открывшуюся познаваемость мира (уже вне абсолютных предпосылок) стала ориентация на «документальность», очерковость изложения. Романное слово находилось в поиске соответствующей формы – романа-проблемы, романа-исследования, хроники (излюбленный прием Ф.М. Достоевского).

Параллельно тому подъем позитивистской историографии во второй половине XIX в. сопровождался страстным поиском оснований синтеза за границами исторической науки: в психологии, политэкономии, философии познания и философии культуры. На этом фоне критика истории, пересмотр границ историко-научного знания, предпринятые Толстым в романе «Война и мир», не могут рассматриваться исключительно в категориях «художественного» или «философского» мышления яснополянца. Основания толстовской критики истории лежат вне Толстого. Они – в самом кризисном опыте тупиков и разрывов между открывающимися фактами и средствами их объяснения (в том числе образными, повествовательными средствами, теоретическое осмысление которых как инструментов познания откроется только в XX в.).

«Война и мир» как опыт полемики дискурсов о прошлом

Л.Н. Толстой писал «Войну и мир» в духовно «спрессованное» десятилетие 1860-х гг., в атмосфере жесточайшей борьбы идей, лагерей, школ, направлений внутри литературы (которая, понятно, хотела быть и была «больше-чем-литература», т.е., по сути, превратилась в некую репрезентацию почти отсутствовавшей в стране «публичной сферы»). И с первых же страниц своего нового романа, который и на роман не был похож, Толстой бросил вызов рас пространенным схемам, готовым формам, как художественного, так и научно-дисциплинарного понимания истории. Ситуация формировала определенный запрос на пересмотр границ

исторического знания и художественной литературы. Традиционные границы были взломаны Толстым, чтобы в новом повествовательном пространстве только-только нащупываемого жанра «романа-эпопеи» синтезировать голоса совершенно различных по форме и по историческому происхождению речевых потоков, связанных с различными социально-историческими и духовными мирами (как современными, так и выпадающими в прошлое). Автор «Войны и мира» в своей наивно-титанической воле к сопряжению всего и вся сумел выразить зримое единство того, что еще было живо в опыте, еще не заострено в монолите окончательных и непримиримых друг к другу идейных и жизненных позиций, однако уже не вмещалось в границы отдельных форм осмысления бытия (философского или научного трактата, исторического исследования, романа, лирической или гражданской поэзии).

В 1860-е гг. синхронно с написанием «Войны и мира» Толстым Карл Маркс писал «Капитал». Несмотря на все различия в назначении, жанрах и судьбах этих книг в обоих случаях по отношению к истории решались сходные задачи, но разными способами. Несостоятельность абстрактно-философского конструирования и бесплодность исторических описаний как таковых русский писатель пытался преодолеть через обращение к художественному мышлению, немецкий философ – через опыт экономической науки. При этом сам предмет – проблематика исторического процесса – заставил одного автора преобразовать сферу художественного мышления, а другого – сферу политэкономического.

С середины XIX в. в литературе, как и в историографии, изображаемые события интересны уже не столько своим смыслом («возвышающем душу», как у Карамзина), сколько способностью к наглядно-смысловому оплотнению окружающего внешнего мира (даже внутренние переживания теперь изображаются как бы извне, в оптике «объективности», отстраненно). В строгом требовании точности и полноты передачи переживаемого опыта Толстой чувствовал некий водораздел, отделяющий современную ему литературу от наследия предшественников.

Новое, «радикально» реалистическое видение задач художественного творчества легло в основание изображения истории в «Войне и мире». Однако подход Толстого к художественному изображению истории направлен на преобразование не только эстетического, но и

историко-научного опыта. Тот факт, что впоследствии литературоведам пришлось изобретать для книги «Война и мир» гибридное жанровое определение («роман-эпопея») говорит о том, что в момент своего выражения слово Толстого освободилось от условностей наличных форм повествования. Эта энергия жанровой эмансипации не могла не отразиться на трансформации самой сущности отношений между художественным и внехудожественным дискурсами.

Можно опять провести характерную параллель с Карамзиным, по отношению к которому Толстой одновременно выступил и отступником, и продолжателем традиции. В духе времени Толстой порывает с карамзинской эстетикой чувства, изящным словом как таковым, с метафорикой, которая пронизывала сознание людей рубежа XVIII-XIX вв. Толстой модернизирует эстетическое переживание (в смысле поэтики реализма), но тем самым и возобновляет смысловую доминанту чувства. Наглядно-чувственная реальность, как это правильно отмечается современными исследователями, обожествляется Толстым [2, с. 128]. В «Войне и мире» Толстой, как это некогда делал Карамзин, как бы заново открыл историю, но уже в той фактичности и полноте человеческого опыта, которые не схватывались ни пером Карамзина, ни даже «голой», по словам Толстого, прозой Пушкина. Снова, хотя уже совсем по-другому, «кисть живописца» спасает то, что оледенелая мысль ученого способна была только разрушить.

Однако само возвращение эстетической доминанты в историю в «Войне и мире» происходит существенно иначе, чем в «карамзинский период». Тогда, обращаясь к истории, можно было играть по правилам дифференцированных, но все еще взаимоприсущих жанров. Карамзин однозначно отделял свое художественное творчество от работы в качестве профессионального историка. У Пушкина «История Пугачева» и «Капитанская дочка» написаны в рамках разных соответствующих форм исторического исследования и художественной повести. Граница незыблема именно потому, что авторитет искусства и взаимосвязь форм духовного опыта еще позволяли поддерживать диалог на поверхности этой самой границы, не снимая и не преодолевая ее. Теперь же, в 1860-е гг., автономность дисциплин, сам «порядок дискурса» стали таковы, что никакое художественное слово для научного знания уже не авторитетно. Новация в эстетике как будто

ни к чему уже не обязывает (точнее, с середины XIX в. действенность эстетических императивов не исчезает, но как бы отходит в «бессознательное» научно-гуманитарного мышления). Чтобы быть услышанным, привычные границы жанров потребовалось демонстративно нарушить. Повествование «Войны и мира», как на рельсах, движимо одновременно по двум направляющим – творящего «свой» мир вымысла и нерукотворной фактичности мира исторических событий прошлого. Несмотря на свою романную природу толстовское повествование перешагивает границу художественного и открыто вторгается в область исторических исследований, а также работ по философии и методологии истории.

Рецепция романа в историографии, или «Война и мир» как система зеркал

Вероятно, все еще не написана полноценная история рецепции романа «Война и мир» в традиции отечественной историографии. Перспектива подобного исследования, по-своему, весьма плодотворна. Эта прекрасная тема для диссертации как для историка, так и для филолога даже сугубо в позитивистском ключе (справочное составление репрезентативного «каталога» упоминаний, развернутых откликов на роман, явных или скрытых отсылок к «Войне и миру» в историко-научной литературе). И все же заманчивая перспектива такого исследования не должна подменять собой проблемы предметной взаимосвязи и конкретно-тематического взаимоупора «Войны и мира» и историографической традиции (как предшествовавшей Толстому, так и современной ему, и, наконец, дальнейшей вплоть до нашего времени).

Историография Отечественной войны 1812 г. дает богатейший материал, раскрывающий основные направления освоения художественного опыта романа специально-научным курсом: от первых заостренно полемических откликов со стороны историков, подобранных перчатку, прямо брошенную им в лицо на страницах «Войны и мира», до принятия романа как неотъемлемой составляющей культурной памяти о 1812 г. (к 100-летию юбилею войны, к 1912 г., в специальных работах о 1812 г. отсылка к роману (чаще позитивная) стала едва ли не дежурной). От раздраженно полемизировавшего с Толстым М.И. Богдановича, через всерьез взявшегося за разбор «Войны и мира» А.Н. Витмера к концептуализировавшему мотивы и образы романа в плоскости военной

теории М.И. Драгомирова и «советовавшего с романом» А.Н. Попова до Н.П. Михневича, А.К. Дживелегова и др. можно проследить шаг за шагом как эмоционально-идеологическая тональность, образность (порой вплоть до внешнего стилистического воплощения) и сама предметная фокусировка романа последовательно входили в дискурс историко-научного осмысления событий 1812 г.

Даже строго теоретические интересы исторической науки шли навстречу проблематике «Войны и мира». С 1880-х гг. роман, уже вошедший в «плоть и кровь» русской культуры и национального самосознания, начинает осознаваться как вызов не только для специальной историографии 1812 г., но и для теоретико-методологического мышления в целом. Неслучайно один из застрельщиков комплементарно оцененной К. Марксом и Ф. Энгельсом «русской школы» историков и социологов, Н.И. Кареев, написал специальную работу о философии истории «Войны и мира» [3].

Это была уже не критика «историософских» построений романиста, не просто отклик на «идейное содержание» романа с позиций своей «школы», но фактически первая попытка адекватно воссоздать вызов, брошенный Толстым историко-научному знанию, и ответить на него. Кареев видел внутреннюю взаимосвязь на его вкус технически негармонично «сшитого» между собой единства поэтических, исторических и философских элементов «Войны и мира». Жанровое многоголосие, само строение романа смущало Кареева эстетически¹, но это не мешало ему распознать предметную основу этого синтеза («изображение человеческой личности и исторического движения в их взаимных отношениях») [3, с. 6] и соответствующий масштаб философского замысла «Войны и мира». У молодого ученого (брошюра была издана на основании материалов лекции, прочитанной в апреле 1886 г., когда Карееву было 35 лет) не было сомнения ни в актуальности затронутых в романе «принципиальных вопросов философии истории», ни в продуктивности утверждаемых Толстым реалистических способов изображения истории.

¹ «В «Войне и мире» как бы перепутаны страницы из трех отдельных книг: из романа в собственном смысле, т.е. семейной хроники Ростовых и Болконских, из исторического сочинения о войнах России с Наполеоном I и из философского трактата о сущности исторического движения вообще, — до такой степени каждый элемент выступает самостоятельно...» [3, с. 2].

В работе даже была предпринята попытка проследить взаимосвязь художественного реализма, с реализмом исторических описаний и философии, развиваемой Толстым: «художник превращается в ученого, романист делается историком» [3, с. 17] и во всех областях порывает с привычными «идеализациями», во власти которых были не только литература, но и историография. Какая «бездна» может быть открыта за связью «идеализаций» художественного и научного мышления начинающему свой путь теоретику социологического метода в историографии, конечно же, тогда было почти невозможно увидеть (тем более, что дисциплинарно эта проблема в XIX в. еще не схватывалась). Однако от Кареева не ускользнула проблема необходимости систематического перевода художественного, исторического и философского языка книги «Война и мир» на язык научно-гуманитарной мысли. Перед тем, как вступить с Толстым в полемику «по принципиальным вопросам», Кареев добросовестно и небезуспешно реконструирует философию истории Толстого, которая вовсе ведь не была изложена в романе в систематической и доступной для научной критики форме. Разбросанные без «определенного плана рассуждения», выраженные без заботы «о точности употребляемых понятий» мысли как бы заново собираются Кареевым в связное и доступное для дисциплинарно-научного сознания единство (вполне коррелирующее при этом с исходным композиционным и содержательным целым книги).

Ни жанровые барьеры, ни даже очевидный дилетантизм Толстого в области историографии и теории исторического знания не мешали Карееву выявить именно «принципиальные» и «философские» (а следовательно — не зависящие от разницы в степени специального образования) разногласия с автором «Войны и мира». Под именем «социального индифферентизма» Кареевым были схвачены многие особенности мировоззрения Толстого, вытекающие из его этики личной религиозной ответственности и наложившие отпечаток не только на его историческую концепцию, но на все его художественное и философское мышление в целом. Однако даже не столько в аргументах, сколько в тональности и в пафосе, с которыми Кареев взялся разоблачить этот «социальный индифферентизм», в свою очередь отразился весь тот весьма характерный для гуманитарной профессуры рубежа XIX — начала XX вв. духовно-интеллектуальный «бэкграунд» (с верой в «общее

благо», прогресс, научное знание (понимаемое слишком теоретически), образование, культуру, социальные преобразования), основания которого именно и были столь жестко поставлены под вопрос в книге «Война и мир», а затем уже – самим историческим опытом XX в. (начиная с 1914 г.). Верно опознав и обозначив «линию противостояния» с автором «Войны и мира», Кареев по сути дела не мог вступить с ним в полноценный диалог, не поставив под сомнение ключевые установки собственного дисциплинарно-научного мышления. Дальнейшая судьба отечественной историографии уже в XX в. складывалась таким образом, что чем больше накапливалось оснований для подобных сомнений, тем меньше оставалось исторических возможностей для действительной рефлексии транслируемых из XIX в. теоретических предпосылок. На этом фоне опыт Кареева долгое время оставался оборванной попыткой отечественной исторической науки начать методологически ответственный диалог с автором «Войны и мира».

Понятно, что революция и последующий погром исторической памяти не могли не прервать всякие, в том числе упомянутые традиции. В особенности это коснулось историографии Отечественной войны 1812 г. и национальной памяти об этом событии в целом. Однако первые же попытки уже в лоне «советской науки» возобновления со второй половины 1930-х гг. национальной историографии темы войны 1812 г. совсем неслучайно связаны с сознательной актуализацией образов «Войны и мира» (Е.В. Тарле). Последующее раскрытие перспектив «патриотическо-великодержавной» (в марксистско-ленинской драпировке) советской историографии о 1812 г. (П.А. Жилин, Л.Г. Бескровный) раскроет также и пределы идеологической эксплуатации образов романа. Собственно, именно в этих условиях сталинско-брежневского историографического классицизма «художественный мир» «Войны и мира» и был преобразован в ту мифологическую систему, к ниспровержению которой в 1990-х – 2000-х гг. приступят новые поколения историков, наивно смешивая (и продолжая смешивать) этот идеологически прозрачный (и понятный в контексте задач эпохи Холодной войны) конструкт с содержанием книги Л.Н. Толстого «Война и мир».

Другими словами, добротное исследование рецепции «Войны и мира» в отечественной историографии показало бы, что «роман-эпопея» «отражает» не только идеологический

контекст 1860-х гг., преломленный в мировоззрении автора (тема работ Б.М. Эйхенбаума), но и то, как в динамике прочтений выраженное однажды романное слово «отражает» всю историографическую традицию с 1860-х по 2010-е гг.

Тематический охват, выверенный образный строй, предельность выраженных «идей» (и вполне конкретных соображений), наконец, сама конфигурация предмета изображения превращают «Войну и мир» в уникальную систему зеркал исторического опыта. Рядом с этим гигантским (проводя параллели с философией эту подавляющую систематичность можно сравнить с «Энциклопедией философских наук» Г.В.Ф. Гегеля), хотя в чем-то противоречивым и даже наивным единством, каждая конкретная последующая мысль, работа историка, исследование «отражается», как некая «вариация на тему», искажение или возражение (обоснованное или нет). На подведенной к этой романной системе зеркал едва ли не любой работе по теме войны 1812 г. мгновенно проявляются и подлинно научное лицо конкретных фактических и концептуальных утверждений, и гримаса идеологических импульсов (от монархически-охранительных до революционно-интернационалистских к имперско-социалистическим и, наконец, к нынешним – и либералистским, и религиозно-традиционалистским) и вся эмоционально-эстетическая подоплека того или иного исторического труда. О чем бы не писал историк – о причинах ли войны, планах сторон, характере тех или иных операций, их влиянии на общий ход событий, о дипломатическом, идеологическом, социальном контексте – всюду предмет исторического исследования оказывается уже схваченным в хронотопе «Войны и мира» (вплоть до таких частных вопросов, как характер ранений в Бородинском сражении).

Структура предметного мира книги Толстого позволяет также сопоставить романное слово с историко-научным знанием уже и на более «высоких» этажах проблем теории и методологии исторической науки и гуманитарного знания в целом (взять хотя бы отсылку к «Войне и миру» в «Истине и методе» Г.-Г. Гадамера, где толстовский образ Кутузова стал частью аргументации против логики «вопросов и ответов» Р. Коллингвуда). Многие магистральные явления историко-научной жизни второй половины XX – начала XXI вв. могут быть поняты в свете поэтики «Войны и мира» (история повседневности, микроистория, устная история, критика нарратива и мн. др.).

Однако даже сколь угодно фронтальная история рецепции «Войны и мира» не может в рамках традиционных инструментариев исследования подступиться к проблеме того, как роман «отражает» свое собственное историческое содержание – эпоху 1812 г. Эта крамольная для дисциплинарного разума тема эпистемологически остается табуированной для всех, кроме школьников.

Структура и опыт

История рецепции может быть лишь внешним контуром работы по высвобождению смысла сказанного в романе в перспективе «большого времени». Конечно же, не стоит обманываться, что тот или иной «теоретический аргумент» позволит взломать оковы заверченного целого (завершенности произведения, авторского мировоззрения, эпохи написания романа, жанра в котором он написан) и «единым махом» высвободить актуальный смысл сказанного Толстым об истории. Указанные выше методологические затруднения стоит понимать как «объективные», то есть укорененные в опыте социального бытия современного научно-гуманитарного мышления. Поспешные телодвижения в такой ситуации были бы комичны. Поэтому то, о чем можно сказать в заключение данных предельно общих еще и лишь пока только предлагаемых, а не постулируемых тезисов, также по необходимости носит характер незавершенного наброска.

Сегодня попытка «пробиться» к историческому опыту «Войны и мира» «прямо через текст» (и, конечно же, еще в меньшей степени посредством того или иного «методически изоциренного» «силового прочтения») уже не представляется лучшим и наиболее продуктивным способом возвращения к предметному смыслу сказанного Толстым об истории в романе «Война и мир». Более предпочтительным, хотя и трудоемким и, возможно, далеко не сразу обещающим «золотые горы» познавательного результата, представляется все же постепенное ощупывание внутренней смысловой структуры образов, идей и поэтической композиции романа в их конкретно-предметной обращенности к соответствующим структурам актуального историко-научного и теоретико-методологического мышления.

Здесь важно оговориться, что само понятие «структуры», в значительной мере ключевое для нашей проблематики, не должно, однако, считываться в русле известной (пост)структуралистской традиции (т.е. как некоторый всепроникающий анонимный «базис» по отношению к

«надстройкам» тех или иных конкретных символизаций). Здесь тоже скорее уместен некоторый «шаг назад» в глубину истории этого понятия, отсылающий к «герменевтической структуре» как жизненной взаимосвязи, делающей возможным понимание и поступок в подвижном мире исторического опыта. Такое понятие структуры напрямую связано с традицией немецкой (В. Дильтей) и русской (Г.Г. Шпет) герменевтики и подводит как раз к теоретическим истокам наиболее продуктивных в XX в. попыток осмысления сущностных взаимосвязей областей гуманитарного знания, искусства и практически-ориентированного жизненного мира.

По отношению к роману «Война и мир» стоит задача проверить на прочность предположение о том, что смысловая структура романа прорастает в разных временных пластах «на обе стороны» слова – и во внеположенном тексту событийном опыте (изображаемом, то есть в эпохе 1812 г., и проживаемом в процессе создания романа, то есть в 1860-х гг., и, наконец, в проживаемом в процессе чтения), и в соответствующих дискурсивных формах освоения этого опыта, открытого и в прошлое, и в будущее (внутренняя взаимосвязь романа с «историческими источниками», традициями художественной и историко-научной литературы, критики, философии XVIII, XIX, XX и начала XXI вв.). Как именно и в какой мере доступен нашему пониманию оседающий в этих измерениях смысл толстовского романа?

Сами эти измерения доступности смысла исторически и жанрово неравномерно открыты. Их актуальную конфигурацию еще только предстоит прощупать в свете нашего исторического опыта. Здесь вполне применима формула разрыва между эстетическим восприятием и осмыслением, высказанная М.М. Бахтиным по поводу рецепции трагедий Шекспира: «Нас захватывают и поражают именно основные тона Шекспира, но осознаем и обсуждаем мы пока только обертоны» (Цит. по: [4, с. 168]).

Смысловая структура сказанного об истории в романе должна быть найдена и описана не «в себе» (таких описаний накопилось достаточно), а на границах с другими высказываниями других эпох и жанров речи в действенном напряжении с нашим собственным пониманием как именно другим по отношению ко все еще обращенному к нам голосу автора «Войны и мира».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бицилли П.М. Очерки теории исторической науки. М.: Аxioma, 2012.

2. Гулин А.В. Лев Толстой и пути русской истории. М.: ИМЛИ РАН, 2004.

3. Кареев Н.И. Историческая философия гр. Л.Н. Толстого в «Войне и мире». СПб: Издание Л.Ф. Пантелеева, 1888.

4. Махлин В.Л. Большое время: подступы к мышлению М.М. Бахтина. Siedlice: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlicach, 2015.

5. Ольхов П.А. История как искусство: «Война и мир» Л.Н. Толстого в истолковании Н.Н. Страхова // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2010. № 4. С. 181-192.

REFERENCES

1. Bitsilli, P.M., 2012. Ocherki teorii istoricheskoy nauki [Essays on the theory of historical science]. Moskva: Aksioma. (in Russ.)

2. Gulin, A.V., 2004. Lev Tolstoy i puti russkoy istorii [Leo Tolstoy and the paths of Russian history]. Moskva: IMLI RAN. (in Russ.)

3. Kareev, N.I., 1888. Istoricheskaya filosofiya gr. L.N. Tolstogo v «Voyne i mire» [Historical philosophy of Count L.N. Tolstoy in «War and peace»]. Sankt-Peterburg: Izdaniye L.F. Panteleeva. (in Russ.)

4. Makhlin, V.L., 2015. Bol'shoye vremya: podstupy k myshleniyu M.M. Bakhtina [The big time: approaches to M.L. Bakhtin's thought]. Siedlice: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlicach. (in Russ.)

5. Olkhov, P.A., 2010. Istoriya kak iskusstvo: «Voyna i mir» L.N. Tolstogo v istolkovanii N.N. Strakhova [History as art: Leo Tolstoy's «War and Peace» in the interpretation of Nikolai Strakhov], Dom Burganova. Prostranstvo kultury, no. 4, pp. 181-192. (in Russ.)